



ШАБАЛИН В.М.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО

СБОРНИК

*МУ ЦБС Прокотьевского района
Каменно-Ключевская сельская библиотека*

ШАБАЛИН В.М.

*Литературное
творчество*

Сборник

2008

ББК 84 р74
Ш 12

Составитель: Иванова Г.Н., ведущий библиотекарь ЦБС

Верстка: Боронихина О.В., зав отделом инф. технологий

Ответственный за выпуск:

Семенова Н.Н., директор ЦБС

ББК 84 р74 *Шабалин В.М. Литературное творчество:
Ш 12 Сборник. - Цбс Прокотьевского района,
Каменно-Ключевская сельская библиотека. -
2008. - 64 с. - 5 экз.*

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПУБЛИКАЦИИ

26 лет назад в газете “Сельская новь” за 21 февраля 1970 года было опубликовано мое стихотворение “Иганино”. Неожиданно для меня через несколько недель его опубликовала областная молодежная газета “Комсомолец Кузбасса”. Это обстоятельство подтолкнуло меня к посылке стихотворения в московский журнал “Октябрь”, являвшийся в то время одним из ведущих журналов Советского Союза. К моему удивлению, уже через две недели заведующий отдела поэзии “Октября” прислал мне теплое письмо, в котором сообщал, что “Иганино” получило одобрение на заседании редколлегии журнала и публикация его состоится в февральском номере за 1971 год.

В феврале 1971 года я получил второй номер “Октября” и увидел “Иганино”. Оно было соседом повести Юлиана Семенова “Бриллианты для диктатуры пролетариата”.

Прошло года два. Поэзией я всерьез заниматься не собирался и поэтому с огромным интересом все свое свободное время отдал поисковой работе. Результатом этой моей работы были очерки о героях Бородинского поля. Они были опубликованы и в “Сельской нови”, и в альманахе “Огни Кузбасса”. Но дело не в них. Когда я в Кемерове встретился с руководителем писательской организации Владимиром Мазаевым и договаривался о публикации “Бородина”, зашел разговор о поэзии. И он, Мазаев, рассказал мне, как восхищался московский поэт Николай Агеев стихотворением какого-то сибиряка. Володя Мазаев процитировал мне по памяти несколько строк из “Иганино”.

Сложилась анекдотическая обстановка. Мы с Мазаевым знали друг друга уже лет двадцать, со студенческой скамьи. Он знал, что я в студенчестве пописывал стихи, но поскольку Агеев фамилию поэта ему не сказал, а “Октября”

Володя не видел, он тут же заставил меня по памяти написать стихотворение, и оно было опубликовано в альманахе “Огни Кузбасса” №2 за 1975 год вместе с “Сибиряками на поле Бородинском”.

Но “Иганино” заняло самое почетное место в альманахе. Им открывался номер, посвященный 30-летию Великой Победы. Но и на этом не закончилась история публикации “Иганина”.

Валентин Махалов в 1985 году был одним из ответственных за выпуск юбилейного сдвоенного номера “Огней Кузбасса”. Номер посвящался 40-летию Победы. Я случайно зашел в Союз писателей. Валентин накинулся на меня с обычной для поэта страстной энергией. Я ничего не понимал. Он криком кричал: ”Давай “Иганино”! Скорей!”. Когда все выяснилось, я вновь по памяти от руки написал стихотворение и отдал его успокоившемуся Валентину. Как водится у писателей, они никак не могли найти номер за 1975 год своего альманаха, где было напечатано “Иганино”. В результате появилась пятая публикация “Иганина”.

В октябре прошлого 1995 года при разговоре с профессором Кемеровского института культуры Иосифом Лазаревичем Курочкиным зашел разговор о поэзии, и я процитировал ему несколько строк “Иганина”. Профессор попросил меня прислать ему полный текст для того, чтобы положить на музыку. Недавно “Иганино” я отправил профессору. Пусть поют!

Так, благодаря публикации в “Сельской нови” мое “Иганино” сделало для себя небольшую литературную карьеру. За 26 лет после первой публикации много воды утекло. Появились новые поколения читателей, да и состав редакции сменился. Поэтому я посылаю его, мое “Иганино” вновь в “Сельскую новь”. Авось напечатают.

*Владимир Шабалин
пос. Каменный Ключ*

ИГАНИНО

Солдатской кровью здесь поля не поены
И кладбище без звезд - кресты, кресты...
Лежат под ними старцы. Детям-воинам
На пьедесталах суждено застыть.

В Иганино саперам делать нечего.
Война здесь не оставила следов.
И нет берез, металлом изувеченных,
Свидетельниц решительных боев.

Снег снегом был, и грозы были грозами.
Взрывной волной не сорван лист с берез.
Трава подрезана не пулями, а косами,
И танки не утюжили овес.

Но так ли было все, скажи, Иганино!
Неужто ты не тронута войной?
Не взорвано, не сожжено, не ранено?
Защищено всеильною тайгой?

Нет! Все не так! Все проще и трагичнее.
Иганинские триста мужиков,
Работники, охотники отличные,
Оставили деревне триста вдов.

Иганино! Иганино! Иганино!
Безвестное сибирское село!
Четыре года жгло тебя и ранило.
Четыре года ты войну вело.

Четыре года, что не день, конвертами
Бомбил тебя далекий страшный фронт.
Иганинкам так душу исковеркало,
Что до сих пор им страшен почтальон.

Солдатской кровью здесь поля не поены
И кладбище без звезд - кресты, кресты.
Лежат под ними старцы. Детям-воинам
На пьедесталах суждено застыть.

Им: бронзовым, стальным, чугунным, мраморным
В Европе теснота – сибирякам.
Не восторгаются ни чистотой, ни храмами.
В глазах невидящих – сибирская тайга.

Мне кажется – могучие фигуры их
Не греет европейское тепло.
И верится – не мертвыми скульптурами
Они живут всем недругам назло.

Они живы и в бездыханье бронзовом
И станут жить в дали других веков.
Пусть не лежат под милыми березами.
Мы помним их, бессмертных земляков!

У деревень значенье только местное,
Иганина на картах не найти.
И все-таки село это безвестное
Со Сталинградом вечный побратим.

ВЕСНА

Прокатилась по асфальту открытая «Победа».
В белом костюме прошел горожанин.
Дама пристроилась на балконе обедать.
В лужу скользят ручейки ужами.

Радуются теплу и солнцу деревни,
Будто урожай им кто-то подарил...
И в зелень лица весне-царевне
Улыбаются города-цари.

1955 год.

ПОСЛЕДНИЙ СНЕГ

Ночью майскою темной
Выпал пушистый снег,
День пролежал и скромно
К вечеру кончил свой век.

В небо умчал, растаяв,
В реку скользнул ручьем
И, может быть, где-то, когда-то
Его мы ведром зачерпнем.

Возможно, умчат его ветры
К далеким пескам пустынь
И вспомнит он выюги да кедры,
Сибирскую лютую стынь...

1956 год.

ОСЕННИЕ ЭТЮДЫ

Сентябрь

Тихи и строги, и печальны
Березы в сентябрьские дни.
Как вдовушки – в траурных шалях -
Прощаются с летом они.
Еще зеленеют поляны,
Роса по утрам тяжела.
По-львиному мягко комбайны
Крадутся по хлебным полям.
В лесу без натуги, без грусти,
Спиной раздвигая пласты,
К сентябрьскому солнышку грузди
Стремятся. Как в мае цветы.
И толпы девчонок – волнушек,
Прикрывшись листвой золотой,
Грустят о груздях... И смеются,
Умывшись холодной росой.

Октябрь

Береза посеревшая
(Ей одиноко, холодно)
С соседкою все шепчется,
Осиной, тоже голою.
И сосны бронзотелые –
(В шикарных платьях – гордые)
Окрест глядят с презрением,
Поднявши к тучам головы.

Ноябрь

Костры рябин потушены
Суровыми ветрами...
Рябиновые листики
Под белыми снегами!



*Зима в окрестностях Каменного Ключа.
Фото В. Шабалина.*



*Река Кара-Чумыш неглубока, вода в ней в июле
очень теплая. Фото Р.П. Шабалиной.*

РЕЙХСТАГ

Война закончилась, а мы все воевали...
Ожесточенно, вдохновенно мы
Рейхстаг берлинский ежедневно брали,
Набравши снега полные пимы.

Январский снег! И жарок он и хрупок!
Но можно ль без рейхстага побеждать?
Чуть не дотла сжигая снегом руки,
Часами мы могли рейхстаг ваять.

Из проруби на берег, надрываясь,
Таскали воду в бочке ледяной
И ненавистный купол поливали
Святою нашей томскою водой.

Зачем? Нам нужно до зарезу,
Чтобы рейхстаг был прочен, как ТОГДА!
Цемент не было и не было железа.
Бетон мы заменяли коркой льда.

Рейхстаг готов к сраженью. Опясан
Тройным кольцом защитных рубежей.
И мы готовы. Самодельный красный
Наш стяг зовет:
- На штурм! Вперед! Скорей!

Бредем в снегу по пояс и по уши,
Потом ползем, а ветер рвет лицо...
Ползем и слышим... голос вражьих пушек.
И прорываем за кольцом кольцо.

Ура! Начался рукопашный.
Гранатой деревянной и штыком
Пробились к куполу и водрузили красный
Наш стяг ПОБЕДЫ над своим врагом.

А летом пробирались мы к отвалам,
Где вражеские пушки и штыки,
«Пантеры», «Фердинанды» ожидали,
Когда их переплавят на плуги.

Их переплавили, их перелили. Траки
«Пантеры», ствол и каски, и штыки
Однажды превратились в мирный трактор,
В могучие крестьянские плуги...

Нам невдомек их будущее было.
Сиротской ненавистью до краев полны,
Босыми пятками до крови колотили
Броню крестатую фашистской сатаны.

Наивное мальчишечье занятие.
Но что ж нам делать, если нет сапог?
Но что ж нам делать? Ведь отцы да братья
Весной Победной не шагнули за порог?

Шли мирные года...
Мы воевали...

ПЛЕННЫЕ

Медальный звон. Костыльный трудный стук.
Сороковые годы. Высь и горе наше.
Сердце измученных тревожный перестук.
Почти нет хлеба и картошки даже.

Медальный звон. Костыльный трудный стук
Забудут ли тогдашние мальчишки
Голодных матерей? Отцов без ног, без рук?
Над немцами воздвигнутые вышки?

Над немцами, над теми, что в плену
В заплатанных (не помню цвет) мундирах,
Забыв про фюрера и матеря войну,
Старательно нам строили квартиры.

В Сибири и сейчас немало есть домов,
Фундаменты которых, стены, крыши,
Кирпичик каждый, своды потолков
Тех немцев речь еще, наверно, слышат.

Сибирь и готика - сопоставленья нет!
И все-таки готические зданья
Грустят в Кузбассе уж десятки лет
Как памятник войне и созиданью.

Печальный памятник. Далек был фатерланд.
До Одера пять тысяч километров.
Бараки. Строгий комендант.
Березы белые да буйство шорских кедров.

БОРОДИНО. ОКТЯБРЬ 1941 ГОДА

1. На фронт

С Востока Дальнего на запад эшелоны,
Привстав над рельсами, напрягшись как струна,
Несут безвестные пока что батальоны
В края, где властвует священная война...

Сентябрь укутал золотом Россию.
Ее сибирские безбрежные поля
Вслед эшелонам шепчут: «Дорогие,
Победы вам иль пухом вам земля».

Задумчиво глядит на эшелоны
Уральский добродушный старый лось.
Рога ветвистые опущены в поклоне,
В глазах печальных сгустки светлых слез.

...Но слишком деловиты семафоры.
Вздывая над собой зеленый свет.
Приказывают строго: «Выше скорость!»
И направляют поезда к Москве.

Полковники, сержанты, капитаны,
И главный тот, чье имя «рядовой»-
Вполголоса про танки да про танки,
Про вражеские танки под Москвой.

К Москве скорей, скорее, поезд!
Не тормози и не жалей колес!
Готовы мы, давно готовы к бою,
Врага сумеем сбросить под откос.

Они крылаты и крылат их поезд,
Летящий сквозь Россию в бой, вперед.
Все будет после: обелиски, «Поиск»,
Прославит их в столетиях народ.

И сами, о сраженьях вспоминая,
Они напишут краткий свой рассказ:
«Стояли насмерть. Надо - умирали,
И воскресали, если был приказ».

Ну, а сейчас, в дни сентября литые
Из золота пшеницы и берез,
Комдив, и тот не знал еще, какие,
Когда и где бои после колес.

2. Враги

Еще не ведал генерал немецкий
(Со стажем генерал, с приставкой «фон»)
В резерве с корпусом стоявший у Смоленска,
Куда его пошлют, где будет новый фронт.

Тревога на душе у генерала.
Темп наступленья крайне низким стал.
Полкорпуса уже в земле лежало.
Не до восторгов, не до криков «Хайль!»

Солдаты хмуры. Белые березы
Не вызывают в их сердцах восторг.
Октябрь идет и скоро уж морозы!
И черт-те знает, как велик Восток.

За корпусом широким длинным шлейфом
Березовых крестов бесчисленная рать.

Оркестры натерели (трубы, флейты)
Гимн похоронный мастерски играть.

«Но ничего. Последнее сражение
Над «и» расставит точки навсегда.
Долой хандру. Долой эти сомненья.
Полкорпуса?.. невелика беда.

Соединенье снова полнокровно.
Врага сразит мой танковый таран.
Мы победим. В Москве и Подмосковье
Германский прогремит победный барабан!»

И корпусные штабники- педанты
Лелеют стрелы, острые как штык.
Шуршанье карт. Чуть слышно: битте, данке.
Прекрасны стрелы. Рад педант штабник.

Нанизаны на стрелы деревеньки.
Проткнут Можайск навывлет, наубой.
Конечно же, и Ванькам, Манькам, Стенькам
Пронзенным быть. Так велено судьбой

3. Бородинское поле

«Вы прибыли», - сказали семафоры,
Свет красный поднимая над собой.
«Сгружайтесь поскорее и – за город.
Враг недалеко, за Колочь-рекой».

Но что это? Взволнованно солдаты
Глядят вперед. Там обелисков строй.
«Не может быть!», «Да что ж это, ребята,
Никак Бородино?», - «Бородино!».

«Да здесь... Да мы... Мы не уйдем отсюда!»
«Кутузов сам и сам Багратион!»
«Назад ни шагу!» «Ох, и жарко будет!»
«Тут призадумался всерьез Наполеон»

Боец припомнил, что далекий предок
В двенадцатом здесь голову сложил.
Был, по преданиям, отважен он и крепок.
Не это б поле, сотню лет прожил.

Все чувствуют, шагая полем славы,
И сердца стук, и бронзу тел своих.
И каждый, сам с собою не лукавя,
Подумал «Буду драться за троих.

А если надо, если будет нужно,
На танк, на пулемет, на миномет
С гранатой, с автоматом, безоружным
Пойду... И не умру, а он - умрет».

4. Враги

«А где Москва, и что задумал фюрер?
И скольким немцам мордой в грязь лежать?
«Блицкриг» тю-тю... «Тайфун», конечно, буря,
Но как бы не пришлось нам удирать.

А в общем-то, коль верить генералам,
Москва от нас не так уж далеко.
Вот только ветеранов в роте мало,
Полроты мокрогубых сопляков.

Дружки мои от Буга и до Гжатска
Навеки под крестами залегли...

Мне повезло, да что-то часто снятся
Два метра русской каверзной земли».

И унтер-офицер немецкий Мюллер,
Вздыхнув тихонько (гауптман не спит),
Все размышлял: «Что делает наш фюрер?
И где это так раненый вопит?

Приказано назавтра быть в Можайске.
Недаром гауптман всю ночь корпит
Над картами. Наверно будет жарко.
Иваны злы. Спать надо, Мюллер, спи».

5. Полковник Полосухин

Четыре шпалы у тебя в петлицах.
И жизнь вся впереди! Все впереди!
Сегодня счастлив ты и радостен. Так птица,
Из клетки вырвавшись, под облака летит.

Четыре шпалы у тебя в петлицах.
Милльон забот. И фронт твой так широк,
Что по ночам тебе совсем не спится.
Ты вспомнишь свой Кузнецк, Восток...

Но все эти виденья заслоняя,
В глазах твоих стоит одно:
Клочок земли Российской да святая
Деревня, имя чье - Бородино.

Да! Веришь ты своим краснознаменцам.
Не подведут, не дрогнут, нет! Но все ж?
Пред танками вдруг сердце встрепенется
Хоть чье-нибудь... Бойцы-то – молодежь.

Вот Федя Чихман. Парень он отважный.
Но а рука- то у него крепка?
Останется один? Оружие откажет?
Сумеет паренек тогда сдержать врага?

Под силу ли, под силу ли, Федюша,
В твои-то девятнадцать здесь стоять?
А заробеешь? Гром немецких пушек
Сурово будет завтра грохотать.

Да что с тобой? Волнуешься, полковник?
Всю жизнь готовился и завтра утром бой.
На все четыре, кажется, подкован
И не обижен, кажется, судьбой?

А вот волнуешься. И сердце не на месте.
И мысль глупейшая: «Вот в бой бы рядовым».
И строчка в голову одна и та же лезет:
«Сто двадцать километров до Москвы».

6. На южном фланге

По автомагистрали на Артемки
Колонна танков вражеских ползла.
Играют на губных гармошках громко,
Открыты люки. Наглые глаза.

Урал еще кует «тридцатьчетверки»,
Год сорок первый только на дворе...
Без авиа и танков за Артемки
Семнадцатый дерется на заре.

И днем воюют, и под вечер - битва,
А ночью полыханье контратак.



Полковник В.И. Полосухин, командовавший 32-ой стрелковой дивизией на Бородинском поле в октябре 1941 года. Фотография 1940 года подарена братом А.И. Полосухиным В. М. Шабалину в 1972 году.

Артемки вновь, в десятый раз, отбиты
И воет минами отчаявшийся враг.

К Артемкам утром вновь по магистрали,
Задраив люки намертво, всерьез,
Крестатые ползут из рурской стали,
Сминая рощи молодых берез.

Гремят, гремят винтовочные залпы,
«Сорокопятки» ахают подряд.
А вот и голос Чевгусова ГАПа.
Крестатых настигает враз инфаркт.

Отговорились рыком своим хамским
И лязгом траковым отскрежетались. Все!
Горят по пять и в одиночку танки,
К Берлину дым и гарь от них несет.

7. Бородинское поле

О, поле, поле! Все ты поседело.
Не по плечу, что ли, военная страда?
Пятнадцатого утром снегом белым
Покрыта боевая нагота.

Пятнадцатого утром унтер Мюллер
Напуган был твоею белизной.
Молился он. Шептал: «Проклятый фюрер...
Ты разлучил меня навек с семьей»

Да-да, конечно, все теперь пропало,
И гауптман лежит уж под крестом,
Вашей вперед нас гонят генералы,
И смерть таится под любым кустом.

Нет, не хочу я брать те Горки.
Пусть Гитлер сам приходит и берет.
И сердце стонет, и дрожит печенка,
Но с автоматом он на Горки прет.

Дружки его от Буга и до Гжатска
Навеки под крестами залегли...
С пятнадцатого Мюллеру не снятся
Два метра русской каверзной земли.

Шел в контратаку ОРБ бесстрашный.
С гранатой, как со знаменем, комбат.
Был впереди. В него-то и разряжен
На пол-обоймы черный автомат.

Ты, Мюллер, не сумел убить комбата.
Но пуля, пуля черная твоя,
Столкнувшись в воздухе с комбатовской гранатой,
Столб высекла разящего огня.

Комбат, комбат, отважный Корепанов!
В тыл надо. В тыл скорее уходи!
Но ты твердишь: «Да разве это рана?
Я без руки сумею победить»

С пятнадцатого Мюллеру не снятся
Два метра русской каверзной земли.
Его штыками кончили ребята
Из ОРБ. А немцы - погребли.

8. Сержант Жданов

Сержант семнадцатого Александр Жданов
Один остался на КП полка.

Один отстаивает полковое знамя.
Изранен весь, но страшен он врагам.

Гранаты только три, патронов два десятка.
И жизнь одна. И знамя лишь одно.
Последняя вот-вот настанет схватка:
«Взорвусь со знаменем и с ними заодно».

Молчат фашисты. В сотне только метров
Лежат, а трусят, даже не ползут.
«Прошли вы, гады, тыщи километров,
Но скоро, скоро будет вам капут.

А не зарыть ли, не запрятать знамя?
Калинин ведь вручал его полку...
Шальной осколок или пуля ранят
Тогда-то знамя попадет к врагу».

Но думы тяжкие сержанта прерывая,
Вдруг грянуло нежданное «ура!»
Красноармейцев группа небольшая
К сержанту Жданову на помощь подошла.

Ее привел сам комиссар Мартынов...
Путь устилая трупами врага,
Со знаменем сквозь пушки, танки, мины
Пробилась группа. Радость велика!

Ведь знамя полковое снова дома,
Семнадцатый не опозорен полк.
Коленопреклоненно у Артемков
Бойцы целуют бархатистый шелк.

9. Враги

Взбешен донельзя генерал немецкий
(Со стажем генерал, с приставкой «фон»):
«Какой-то сибиряк, полковничек безвестный
Шесть суток держит Бородинский фронт.

Беззубово не можем взять и Горки.
Под Юдинками поражение тож...
А в эти распроклятые Артемки
Не проползешь, ни шагом не пройдешь.

Сейчас на север, в сторону Псарева
Направлю я свой танковый таран.
Мы их сразим. В Москве и в Подмоскovie
Германский прогремит победный барабан».

Теперь уж два корпуса фашистких
(Шесть генералов, шесть штабов больших),
Прикрывшись танками, ползут, ползут на приступ.
Язык наружу. Слышен жуткий шип.

10. Вернемся мы

И в день шестой не сдали мы позиций,
Богатыри дивизии стальной!
Шесть генералов долго будут злиться
И помнить будут Бородинский бой.

Шесть генералов. Шесть дивизий грозных
(Хватило б их, чтоб захватить страну).
Здесь в октябре, сухом и безморозном,
Разбились о дивизию одну...

А ей приказано позиции оставить,
Прикрывшись арьергардом, отойти.
«Прощай пока, о поле русской славы!
Вернемся мы. Немного подожди!»

Дивизия, твой славен путь победный!
И Гжатск, и Ельня, Рига и Огре...
Но много раньше стала ты бессмертной
На поле Бородинском в октябре!

Условные обозначения, встречающиеся в тексте:

Семнадцатый – 17-ый стрелковый полк 32-дивизии.

ГАП – саубично-артиллерийский полк, которым командовал В.К.Чевгус.

ОРБ – отдельный разведывательный батальон, которым командовал Корепанов.

Беззубово, Горки, Юдинки, Артемки, Псарева – деревни на Бородинском поле и рядом с ним, в районе которых вела ожесточенные бои 32-дивизия В.И. Полосухина.



*Ветераны 32-ой стрелковой дивизии и пионеры Алтая
пришли к памятнику комдива В.И.Полосухина
возложить венки. 10 мая 1968 года.*



*На слете ветеранов полосухинской дивизии
в г. Саратове в мае 1972 года.
В центре - А.И. Полосухин, брат В.И. Полосухина.*

Росой осеннею
Под Сталинградом плакала.
Приют давая
Верным сыновьям.
Ты ненавидела в те дни
Броню крестатую,
Паучью свастику
Двурогих дикарей.
Зато гордилась
Нашими солдатами.
Салютами
Советских батарей.

3.

В себя впитала
Крови теплой море ты,
Земля родная,
Чтобы твой полет
Счастливым был,
Союз серпа и молота
За вечный мир
Сражение ведет.
В косынке красной
(ты ведь с коммунистами)
Орбитой новой,
Нехоженой тропой
Летишь вперед
Стремительно, неистово...
Спокойная,
Довольная судьбой...

СИБИРЯКУ – ПОБЕДИТЕЛЮ

Туманы Сибири тебя пленали,
В глазах твоих мудрость тайги.
Холодные воды купали
Могучей сибирской реки.
Не видел ты вечнозеленого юга,
Кавказских утесов,
 тянь-шаньских озер.
Тебя целовала сибирская вьюга
И солнца сибирского жарил костер.
В годину жестокою, в дни испытаний
Ты встал на защиту советской земли.
В полях Подмосковья
 впервые был ранен,
Контужен, врываясь в горящий Берлин.
Мужал ты, воюя за Киев, за Прагу,
Ты кровь проливал
 в придунайских полях.
Твою беззаветную чудо-отвагу
Вовек не забудет планета земля.
Терял ты друзей
 на военных дорогах.
О павших сгорбили и Томь, и Чумыш,
Но дал ты свободу Европе далекой!
Сегодня на страже
 ты зорко стоишь.
Туманы Сибири тебя пленали,
В глазах твоих сила тайги,
Холодные воды купали
Безбрежной сибирской реки.



В Абашево 1949 год. Слева - В.М. Шабалин

ДЕНЬ ШАХТЕРА В 1948 ГОДУ

Рассказ-быль

В тот год лето в Абашево было великолепным. Вовремя шли дожди, вовремя грело горячее солнце. Особенно хорош был август. Мы, трое мальчишек из готического двухэтажного дома, первую половину августа проводили в черемуховых рощах левого, атамановского, берега Томи. В Абашево все лето говорили о невиданном празднике, дне шахтера, который состоится в последнее воскресенье августа.

Мой друг Толя Буштаков (по нашему Матоля), мальчишка рыжий и конопатый не в меру, закатывая от восторга глаза, говорил мне и Генке Бычкову:

- Вы, знаете, а? Знаете? В этот день пацанам дадут вот по такому прянику.- И раскидывал руки в стороны.

- Не ври, Матоля, - возражал Генка, - таких пряников и нет вовсе.

- Мне сеструха Любка-мотористка говорила. Она все знает, - обиделся Матоля. Но Генка гнул свое:

- Ниче тебе бесплатно не дадут. Отец мне говорил, что навезут и яблок, и арбузов, и конфет, и пряников от пуза. Деньги есть - покупай, денег нет, ходи да облизывайся!

Года на два старше нас, а ростом со взрослого парня, Генка был авторитетом и для меня, и для Матоли. Еще бы: Генка без особого напряжения мог одной рукой поднять двухпудовую гирию, а мы вместе с Матолей в свои четыре руки еле отрывали от земли и тут же бросали.

- Тогда деньги будем копить, - сказал Матоля.

После недолгих размышлений решили завтра же перебраться на атамановский берег Томи для сбора черемухи.

- Продадим ее, вот и деньги на праздник, - подвел итоги Генка. - А у конефермы есть Щучье озеро. Я слышал, там щука метровая живет. Ей тыща лет. Морда у нее вся мхом заросла. Вот бы поймать. Ее бы мы продали рублей за пятьсот, - раз мечтался Матоля.

- Опять ты врешь, - возразил Генка, - где ты видел, чтобы рыба тыщу лет жила? А ловить надо, может, карась попадетя. Уху сварим.

На другой день рано утром мы двинулись к восточному краю Абашево, к плашкоуту. Плашкоут (мы его называли просто плашкотиком) - сооружение, напоминающее тротуар на воде. Только изготовлен он из пихтовых брусьев. Плашкотик служил нам в качестве моста через Томь. А предназначался он не для нас, а для бревен, пливших с верховой Томи.

Этот длиннющий тротуар из брусьев был намертво закреплен канатами на левом берегу и тянулся наискось через всю реку, чуть не касаясь суши у Абашево. Небольшое водное пространство между абашевским берегом и плашкотиком

было началом затона. Летит бревно со стороны Мысков, и вдруг на полном ходу натывается на площадку. Смиряется бревно, прилегает своим мокрым боком к преграде и уже потихоньку несет его вода от самого левого берега, либо от середины реки, в ту небольшую воронку, которую образуют плашкотик и абашевский берег. А вот и затон. Прижимаясь друг к другу, дремлют бревна в затоне. А те, что не смирились со своей судьбой, встают на дыбы и поднимают вершины к небу. Нам, пацанам, всегда казалось, что это батареи зениток изготовились для отражения атаки вражеской авиации.

Время от времени мужики в длинных резиновых сапогах мощными баграми вытаскивали деревья на берег и укладывали на бревнотаску. На лесопилке хищные зубастые пилы разносили бревно на несколько коротких кусков и в качестве крепежной стойки попадало оно в подземелье, в шахтовую лаву. В одну страшную ночь невероятная сила надавит на стойки и расщепит их тела на множество частей. И рухнет свод, превратив и стойки, и шахтеров в ничто.

Осторожно продвигались мы по плашкотику. Брусья были скользкими. То и дело кто-нибудь из нас падал, гремело пустое ведро. Опять падение. Матоля матерился, Генка покряхтывал, я молчал и клялся никогда больше по плашкотику не ходить.

Но вот переправа закончена. Пройдя через обобранные нами раньше черемуховые рощи, мы выходим на огромную поляну, покрытую высокой травой. На большом удалении друг от друга на поляне возлежат знакомые нам три быка- производителя, принадлежащих местной скотоферме. Каждый из этих трехметровых гигантов был намертво закреплен. Толстые стальные кольца пропущены через бычьи ноздри. Кольцо соединялось со здоровенной цепью, которая в свою очередь была прикреплена насмерть к торчащему в земле рельсу. Черного, как антрацит, быка звали Кузбассом, белого (наверное, для смеха!) Шахтером, а рыжего -

Реввоенсоветом. Рыжего мы звали еще и Матолей, в честь нашего друга. Матоля не обижался, а даже радовался:

«Был бы я как он,- мечтал пацан,- я всех бы врагов перебодал». С Реввоенсоветом он дружил. Садился на него и ждал, когда тот его сбросит. Бык чуть шевельнется, и мальчишка летит с него кубарем. И так продолжалось до тех пор, пока Реввоенсовету не надоедало.

Как только он начинал мотать головой и пофыркивать, мы сматывались подальше. Белый бык Шахтер почему-то вечно спал, а черный Кузбасс при нашем приближении вставал, яростно начинал рыть землю копытом и тряс огромными рогами.

Мимо Щучьего озера промчались мы как ветер, и попали в черемуховую рощу, еще не обобранную. Когда ведра были наполнены до предела, а языки стали черными как бык Кузбасс, двинулись назад. Присели на берегу Щучьего озера. Я тут же уснул, а друзья мои стали рыбачить. Проснулся от визгливого крика. Вскочил на ноги. Матоля бултыхался в озере и кричал что было сил:

- Щука, щука!

Генка никак не реагировал на вопли друга. Объяснил мне:

- Он тоже уснул и упал в воду. Вот и приснилась щука. С большим трудом переправились мы на абашевский берег и, счастливые, медленно побрели домой. Встречные смотрели на наши ведра и похваливали:

- Какие молодцы! До Дня шахтера мы еще несколько раз перебирались на левый берег. Рыбачили. Попадались караси, но тысячетней щуки так и не поймали. От продажи черемухи у каждого из нас собралась приличная сумма. Мы были готовы достойно встретить праздник.

Часов в двенадцать, в самый День шахтера, мы двинулись на базар. Люди были одеты не так как обычно, а во все светлое и цветное. Веселые мужики и парни

преобладали. Они пили водку, закусывали и группами направлялись в разные стороны.

Свой пир мы начали с мороженого. Оно нам так понравилось, что опомнились, когда съели его порций по пять. Генка сказал:

— Так мы все проедем!

Купили арбуз на троих. Не успели понять его вкус, как от полосатого красавца остались только одни тонюсенькие корочки. Потом были яблоки. Наконец, Генка спросил у Матоли:

- А где твои пряники?

- Айда в угловой магазин, - бодро ответил тот. Там он ткнул пальцем в витрину:

- Во, глядите!

Там лежали крупные продолговатые пряники.

- Фу, какие маленькие, съехидничал Генка.

- Ну и что? И такой съедим.

Покончив с пряниками, мы, довольные собой и сытые, шагали по главной абашевской улице.

- Здравствуйте, ребята - услышал я знакомый милый голос. Я поднял голову и замер. Моя любимая учительница Римма Филатовна приветствовала нас. - И чем вы занимаетесь?

- Мы гуляем, - ответил я. Оба друга стояли истуканами.

- Не забудьте сходить на футбол, - посоветовала Римма Филатовна.

- Не забудем, - пообещал я.

- А пока гуляйте, - посоветовала учительница.

- Ничего себе, - ошарашено произнес Матоля.

- Вот это да, - задумчиво проговорил Генка.

Дело в том, что все мы Римму Филатовну привыкли видеть в школе в военной форме, с золотыми погонами на плечах. Была она лейтенантом медицинской службы и сразу после демобилизации прибыла в Абашево и стала с первого

апреля того же 48-го года моей учительницей. Взрослым уже я понял, что носила она военную форму не по своему желанию, а потому, что обычного женского платья у нее не было. Она в день шахтера надела, видимо, первое за долгие годы розовое платье, которое поразило нас до столбнякового состояния. Она была красавицей. Чернобровая, черноглазая, круглолицая, идеально сложенная, она долгие годы была для меня образцом красоты.

Мы знали, что праздничное гуляние должно было состояться на большом поле, на берегу Томи, почти напротив села Атаманово, расположенного на другом берегу реки. Можно было пройти на поляну в окружную, по улицам, но мы предпочли тропу через болото. Она проходила там, где позднее был построен клуб имени Маяковского. В то лето здесь пасли коров.

Вышли на праздничную поляну и ахнули. Сотни нарядных людей прогуливались по зеленой траве. Десятки киосков красовались и там и сям. А в центре поляны стояли футбольные ворота. Их стойки и штанга были побелены. Само футбольное поле расчерчено глубокими бороздами, которые засыпаны опилками. Матоля взял горсть опилок, понюхал их зачем-то и заявил:

- Свежие!

Пока мы изучали футбольное поле, со стороны Байдаевки послышался рокот, Он шел с неба. Мы подняли головы. Зеленый самолет-кукурузник был над нами. И вдруг с неба раздался добрый и сильный мужской голос:

- Дорогие товарищи, поздравляем вас с Днем шахтера! Да здравствует! - Тут что-то случилось со звуком, и мы так и не узнали, кто «да здравствует». Самолет делал круг за кругом, а на нас сыпались в огромном количестве листочки.

Один из них я поймал.

- Это же листовки,- разочарованно сказал Матоля.

- А ты думал - пряники?- подъял его Генка.

Пока мы читали листовку, не находя в ней ничего интересного, на футбольном поле что-то случилось. В самом центре его стоял седоватый дяденька в длинных трусах и черной майке. Он дал свисток. И от больших палаток, стоявших за футбольными воротами, к центру поля побежали высокие стройные парни. Одна из команд была в синих майках, другая - в красных.

- В синих наши,- сказал сидевший на скамейке парень,- это греки из Емельяновки.

Емельяновкой тогда называли улицу, расположенную между Абашево и Байдаевкой.

Команды выстроились друг против друга и прокричали:

- Физкультпривет!

Раздался свисток.

- Как в кино,- шептал Матоля. Игра захватила нас без остатка. Мы впервые увидели, как надо играть по правилам.

Вместе с взрослыми мы вопили, поддерживая греков, и молчали угрюмо, когда к их воротам устремлялись футболисты в красных майках. Совсем пригорюнились абашевцы, когда в ворота греков забили гол.

Но вот и для нас пришла минута ликования. Греки забили ответный мяч. От радости мы стали кувыркаться, Матоля вылетел на футбольное поле, чем вызвал хохот болельщиков и улыбки игроков.

- Смотри, смотри,- дергал меня за рубаху Генка,- Римма Филатовна напротив нас в своем розовом платье. Вскочив со скамьи, подпрыгивала и аплодировала моя Римма Филатовна.

- Вот это учительница,- восхитился Матоля. —Даже в футболе понимает.

Игра продолжалась. Второй гол в ворота гостей греки забили как-то уж очень красиво, и мы не могли прийти в себя от радости. И я, и Матоля сорвали голоса от

восторженных криков. Только Генка похмыкивал. Он когда-то видел в Сталинске игру на городском стадионе и теперь считал себя крупным футбольным авторитетом.

Как гром среди ясного неба прозвучал тройной свисток. Футболисты исчезли в палатках. Игра закончилась, а мы не могли этому поверить. Нам казалось, что игра продолжалась не больше пяти минут. Еще долго сидели, глядя бессмысленно на зеленую траву. Потом стали бродить по окрестностям.

- Ваня, Ваня, вставай! Пойдем домой. Ну че ты разлегся, как свинья? — услышали мы женский голос из болота.

- Ты че, как баран, разлегся? И ширинку распустил. Вот притащу тебя домой, там и распускай! Вставай, дурак. Тебе ить завтра на работу. Ты че, забыл?

- Ты мне юбку не задирай, а то я тебя так задеру, что всю жизнь икать будешь.

Женские голоса были обращены к мужьям, успевшим вусмерть напиться, героям сегодняшнего дня - шахтерам.

- Ничего себе,- сказал Матоля,- во дают. Все в стельку нажрались.

- Пацаны, - сказал Генка, - пошли искать моего папаню. Он где-то тут.

Мы нашли Генкиного отца. Он спал, положив пару сапог под голову. Ноги его до колен плескались в томской воде.

Он мирно всхрапывал даже тогда, когда сын взвалил его на свои плечи, а мы подхватили несчастного за ноги и так тащили его до сеновала, расположенного рядом с нашим готическим домом.

Праздник был омрачен. Когда я заявился домой поздно ночью, бабушка моя долго ворчала о суразенках, которые шляются где попало. Хорошо, что мать с отчимом были в гостях, в тайге, у моего двоюродного дедушки.

ЛОМОТЬ ЧЕРНОГО ХЛЕБА

Вспоминает ветеран педагогического труда

Первого сентября 1945 года с самодельной, сшитой из тряпок сумкой, впервые в жизни торопился я в школу. Шел мне уже девятый год, но как и абсолютное большинство ровесников, был я хил и костляв. Байдаевская начальная школа № 27 (позднее средняя школа) стояла на берегу Томи. Это был большой деревянный дом, крытый по круглому. Сияло солнце. Двери школы открыты настежь. Вслед за другими ребятами я поднялся на высокое крыльцо, перешагнул порог и очутился в большом зале. Здесь говорило, смеялось, шепталось, потихоньку пиналось, щипало и повизгивало такое число мальчишек и девчонок, что я остолбенел. В своем Папанинском переулке у меня было много друзей: двое Будкеят, Вовка и Витька, братья Кудашкины, Зинка-соседка, Танька-малышка, Гришка рыжий и, мне казалось, что царство детское - это и есть только мы - пацаны. Я стоял и никто не обращал на меня внимания. Вдруг раздался громкий голос.

- Ребята, внимание! - Какая-то тетенька, возвышаясь над нами, объяснила, где и кому стоять. Нас построили вдоль стен зала, та же тетенька начала называть наши фамилии и кто в каком классе у какой учительницы будет учиться. Я узнал, что буду учиться в 1 «б» классе, а учительницу зовут Марией Игнатьевной.

Все разошлись по комнатам. Мария Игнатьевна попросила нас сесть за парты, посмотрела на нас и ушла из класса, осторожно прикрыв дверь. Ни звука, ни шепотка. Солнечные лучи, отражаясь от черных, блестящих крышек парт, били нам в глаза.

Вдруг, осторожно открывается дверь, и в класс входит женщина в белом халате. Она несет что-то, покрытое белой материей, и ставит это на стол, вслед за ней входит Мария Игнатьевна. Они убирают белое покрывало с принесенного

предмета и перед нашими глазами предстает множество кусков привычного черного хлеба. В нос ударяет так сильно аромат печеного хлеба, что у меня сосет под ложечкой.

Мария Игнатьевна каким-то необычным голосом сказала нам:

- Дети, сейчас вы получите по ломтю хлеба. Кто хочет может съесть его в классе, а кто не будет есть, положите хлеб в ваши сумки. - Во время этой небольшой речи она почему-то прикладывала к глазам белый платочек, а женщина в белом халате смотрела на нас жалобными глазами.

Потом они очень быстро разложили хлеб по краям парт и чуть не бегом вышли из класса.

Я ошарашенно смотрел на ломоть черного хлеба, который спокойно полеживал на уголке моей парты. Мне казалось, что произошла какая-то ошибка. К своим восьми годам я знал о хлебе многое. Его можно получить только по карточкам в особом магазине. Норма наша семейная на день равнялась 900 граммам. Я понятия не имел, что такое грамм и норма, но на практике усвоил, что это очень мало. Вон у дяди Миши Будкеева, отца моих дружков, норма кило двести граммов, а они все равно вечно голодные. Лет с шести я ходил за хлебом. Стоял в очереди, зажатый взрослыми и когда подходил к заветному хлебному окошечку, совал ручонку с карточкой вверх. Карточку (очень похожа она была на простенькую почтовую марку) брала невидимая мной продавщица и через некоторое время совала в мои вытянутые руки пайку. Я ее что было сил зажимал в руках и стремительно двигался домой. Знал, что хлеб могут отобрать. Знал еще я, что хлеб можно купить на нашем байдаевском базаре или (это уже непостижимо) в каком-то коммерческом магазине. Но цены того хлеба были так громадны, что мать с бабушкой при разговоре с соседями махали руками... Не знал я только одного: вдруг ни с того, ни с сего кто-то даст мне хлеб и попросит взять его себе.

Кто взял первым и стал жевать я не заметил. Мгновение ребята прислушивались к жеванию и пыхтению, а потом все, как по команде, протянули руки к ломтям. Моя соседка по парте, беленькая девочка, деловито завернула ломоть в кусок газеты и положила в сумку. Мне хотелось тут же съесть хлеб, но я вспомнил, что мать и бабушка делились со мной всем, а я вдруг... Огромным усилием воли я пересилил себя и положил ломоть во внутренний карман моей лоскутной многоцветной сумки. Я так сильно заглотил слюнки свои, что они ушли в пятки. Все вокруг жевали, а мне пришла спасительная мысль: «Ведь если я съем этот хлеб, дома не поверят, что мне его давали». Это открытие меня поразило и обрадовало. Теперь я посматривал на жующих с гордостью. Они-то ничем не докажут, что им за так давали хлеб, а я докажу. И на соседку я смотрел тоже с симпатией. Она тоже докажет.

Пиршество продолжалось недолго. Послышался шепот, радостные смешки, кто-то сыто рыгнул, кто-то до хруста в костях потянулся. И вдруг открылась дверь и вошла Мария Игнатьевна. Она сказала:

- Дети, сегодня уроков не будет, а завтра... Она объяснила какие книги и тетради нам взять с собой, во сколько придти. Ее голос был строг, сама она была деловита. Но я никак не мог понять, зачем учительница время от времени прикладывает платочек к глазам.

Последние ее слова были: “До завтра, ребята, жду вас.” И вновь чуть не бегом она ушла из класса.

Первый класс “б” просуществовал только год. Нас почему-то расформировали. Никого из тех соклассников “бешников” я не помню, не знаю, запал им в душу тот сентябрьский денек, Мария Игнатьевна, пытавшаяся сдерживать слезы. Не один год, вплоть до восьмого класса, я все гадал, что случилось с первой моей учительницей. В мрачный мартовский день уже в восьмом классе, скучая на

физике (грешен, не любил физику), проворачивая в памяти сентябрьский день сорок пятого года, я, наконец-то, понял, в чем дело. Мария Игнатьевна плакала из-за жалости к нам, костлявым и бледным, голодным и заплатанным, Она, несомненно, накормила бы, обула и одела нас. Но ни она, ни родители наши, ни Родина наша не в состоянии были одарить нас этим простеньким счастьем. Грозная и героическая, счастливая и несчастная, окровавленная наша Родина дала нам только ломоть черного хлеба. В ее пустых закромах нашлось только это. Она поступила правильно, не лгала нам, малолетним ее сынам и дочерям, не подсовывала жвачку или конфетку иностранного происхождения. “У меня ничего нет, возьмите этот кусок и знайте, что ничего дороже для нас всех пока нет!” Таким был ее наказ.

Этот ломоть черного хлеба вскормил поколение, родившееся в 30-е годы. В его рядах миллионы скромных незначительных моих россиян, и те, чьи имена будут вечно греметь над землей. Если бы та, наша старая и строгая Родина вскормила бы только Юрия Гагарина и Германа Титова, Бориса Волынова и Владимира Высоцкого - ей бы только за них надо было воздвигнутьobelisks. Горько сознавать, что из рядов моего поколения вышли и те, кто, видимо, не поняв вкуса черного хлеба, стали крушить и сокрушили великую Родину и обрели себе нечто куцее, обрубленное и уродливое.

Сегодня чуть ли не на каждом углу, на любом базаре, в электричках, в городах-гигантах и в умирающих деревнях просят мальчишки и девчонки милостыню. Что это? Символ возрождения «новой» России? А найдется ли у «новой» России ломоть черного хлеба? Нет, никогда! Очень уж сладко и жирно, в объемах гомерических, жаждут жрать денно и ночно те, кто с помощью лжи, демагогии и обмана захватили имущество и власть и, торжествуя во дворцах, надеются жрать вечно. Навечно ли? Надолго ли хотя бы?

ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ ИЗ БЛОКНОТА СЕЛЬКОРА

БЕГСТВО

Шестиклассник Миша Курочкин решил бежать из дому. Бежать он хотел давно, еще летом. Но ненавистный отчим, драчун и пьяница, куда-то исчез, а мать все лето была на покосе. Жить летом Мишке было терпимо. Хлеб покупал он каждый день (мать оставила ему денег), а раз есть хлеб, будешь сыт.

Мать Мишки была тоже пьяница. В совхозе ее ставили на всякие работы, но нигде она не могла продержаться больше месяца. Ее переводили с места на место, полагая, видимо, что какая-нибудь из работ ее все-таки увлечет, но Марию Курочкину на любой работе увлекала только водка. Поставили ее, наконец, сторожихой у пустых старых амбаров, справедливо считая, что здесь она вреда сделать не может. Два последних года Курочкина и работала на этой должности.

Когда Мишка был совсем маленький и не ходил в школу, он думал, что у него хорошая мама. Но с годами присмотрелся к другим матерям и понял, что мать у него не похожа на других. Это открытие так его поразило, что он много дней подряд не мог спокойно спать. Он стал пристальнее приглядываться к матери, втайне все еще надеясь, что ошибается, что она все-таки хорошая, но все наблюдения его привели к еще более страшным открытиям.

Класса с третьего Мишка стал время от времени вступать в перепалки с матерью.

- Мама, не пей сегодня, - тихо скажет он утром.

- Не буду, - отвечает только что проснувшаяся мать, совершенно не думая о том, что она говорит, и втайне уже составляя план добывания очередной «тройки».

- Дай двадцать копеек,- чуть повышая голос, просит Мишка, предчувствуя отказ и зная вполне точно, какие мысли в эту минуту поглощает его мать.

- Где я тебе их возьму?- уже со злобой отвечает мать, которой Мишкины слова не дают сосредоточиться на главном. У Мишки все закипает внутри. Но он сдерживается всеми силами, он еще думает, что, может быть, с сегодняшнего дня мать переменится. «Может быть,- думает он с надеждой,- она сегодня решит не пить, не пойдет искать тройку?». И все-таки он не может сдержать себя и резко говорит:

- На бутылки каждый день находишь, а на хлеб вечно нет. И уже совершенно не владея собой от обиды: - Опять тебя притащили вчера из канавы!

Ему теперь не страшно, что мать уставилась на него во все глаза, хочет подняться с кровати и накинуться на него. Он продолжает выкрикивать ей в лицо такие слова, за которые ему потом долго будет стыдно и горько. Мать не может встать с постели и молчит, потом начинает негромко с завываниями, от которых Мишка цепенеет, плакать и вдруг среди плача визгливо кричит:

- Какое тебе дело до меня, недоносок? Собери бутылки, сдай и жри свой хлеб, чтоб ты им подавился!

После этого она отворачивается к стене и, закрывшись с головой, засыпает.

Ему всегда было стыдно сдавать в магазин бутылки, но еще стыднее просить двадцать копеек у соседей, и он, опустив голову, нес в сетке зеленоватые бутылки с очень знакомыми и от этого еще более отвратительными наклейками. В магазине, ни на кого не глядя, Мишка выставлял на прилавок одну за другой бутылки, которые бы с наслаждением перебил о камни на пруде, если бы не хлеб. Молча засовывал потом хлеб в сетку и выходил из магазина, слыша вздохи продавщицы и жалостливых покупательниц.

В сентябре Мишке исполнилось 13 лет. Сам себе он сказал, что пора менять эту жизнь, которой он жил до сих пор. Как всегда, он и теперь сам выкопал картошку, ссыпал ее в погреб. Часть собирался продать и придумывал способы доставки ее в город на осенний базар.

Мать была все еще на покосе. Он был полным хозяином в доме. Неизвестно, что вышло бы из Мишкиных серьезных намерений, если бы вечером не явился отчим, о котором в последние дни, насыщенные трудами и мечтаниями, Мишка совсем забыл.

Час спустя прибежала и мать. Откуда-то появились друзья отчима, из тихого Мишкиного дома понеслись истошные пьяные крики, прерываемые хохотом, взвизгиваниями, топотом крепких ног. Всем им было очень весело, до такой степени весело, что Мишка, прекрасно знавший, что в жизни этих людей ничего веселого быть не может, искренне удивился, и ему очень хотелось спросить их: «Чему вы радуетесь?» Он, конечно, понимал, что такой глупости не позволит себе.

Мишка сидел на чердаке. «Сегодня ночь теплая,- думал он,- можно на чердаке».

Ни в сентябре, ни даже в ноябре Мишка не мог бежать из-за отсутствия денег. В конце ноября и весь декабрь он рассчитывал торговать елками на железнодорожной станции, что была в трех километрах от Серебрянки. Пассажиры поездов, следующих в Среднюю Азию, нарасхват покупали изумительно красивые сибирские елки, которых не было в жарких краях и в помине. Платили по рублю и даже по два за штуку. Самые скромные подсчеты приводили Мишку к радужным результатам. В ожидании Нового года Мишка жил где придется. Дома он бывал каждый день, но ночевать не решался. Мать и отчим были или пьяны или готовились к очередной выпивке.

Он продал елок на двадцать восемь рублей. Шесть рублей проел. Он даже во сне видел эти шесть рублей: хрустящую новенькую пятерку и металлический рубль, который казался Мишке в сто раз дороже бумажного рубля. Его было особенно жалко. Мишка знал, что в дороге этот круглый металлический рубль легко потерять, потому, скрепя сердцем, истратил его до побега. Вечером 29 декабря он купил за рубль пятьдесят копеек билет до ближайшей станции, сел в поезд, влез на верхнюю полку и заснул довольный.

Серебрянцы, от мала до велика, знали подробно, как живет Курочкина и ее сын. Ее пытались перевоспитывать, то есть вызывали всюду и беседовали с ней по-хорошему, ласково и терпеливо глядя ей в глаза. А школе ей доказывали, что пить нехорошо, даже преступно при маленьком ребенке.

- Поймите,- уговаривала ее молоденькая учительница,- ваш сын прекрасный мальчик, но ваше поведение подавляет в нем способности, он становится озлобленным, иногда начинает грубить.

На заседаниях профсоюзного комитета с ней говорили по-другому, громко взывали к ее совести, иногда стучали и кулаком по столу,но все оставалось по-прежнему. Эта тридцатипятилетняя женщина не поддавалась перевоспитанию.

- Слушай, Маша, - по-отечески говорил ей престарелый профорг совхоза,- ты подумай, яка ж ты мама, когда пьешь горилку без продыху. Що ты опять посылала сына стеклянную тару сдавать?

- Денег нет на хлеб.

- Так получка была три дня назад. Кто ж виноват, что ты все пропила? – горячился профорг.

- Денег же нет,- уныло продолжала Курочкина, опустив голову. Федор Игнатьевич говорил с ней часто, знал, что толку от нее не добьешься, а потому бросил последний козырь:

- А вот яко у тебя будет настроение, если подберем на тебя бумаги и лишим материнства? А? И торжественно надевал очки, одна оправа которых могла бы трезвеннику внушить уважение и трепет, но Курочкина не трепетала от этой блестящей стальной оправы, изготовленной местным кузнецом. Оправа очков сверкала, глаза Федора Игнатьевича тоже посверкивали свирепо, а Курочкина сидела не шелохнувшись. Федор Игнатьевич не выдержал, рывком снял очки и почти шепотом, с надрывом, произнес:

- Сейчас ты пойдешь домой и не вздумай выпить вечером. Я лично проверю.

В школе узнали о бегстве Мишки на другой же день. Извещена была милиция, и поиски начались. Но ни через неделю, ни через месяц, ни через год Михаила Курочкина найти не могли.

Прошло шесть лет. От беспорядочной жизни Мария заболела. Ее долго и тщательно лечили. Известный в области хирург сделал ее операцию, потом отправили на курорт. Настоял на этом совсем состарившийся Федор Игнатьевич, седые волосы которого отливали тем же стальным цветом, что и оправа очков из стальных трубок. После лечения и курорта Курочкина по-прежнему работала сторожихой амбаров. Ей уже перевалило за сорок лет. Это такой возраст, когда каждый человек начинает оглядываться на пройденную жизнь, уже далеко ушло детство, в тумане юность. Прежнему своему занятию - выпивке - Курочкина изменила. Не добровольно, конечно. Врачи сказали ей, что водка может привести ее к смерти в самое близкое время.

Курочкина понимала ненужность своего существования и даже преступность свою. Ее не то восьмой, не то девятый муж, которого так ненавидел сын, прочно осел где-то в далеких таежных краях. Была она теперь совершенно одинока. С серебрянцами сойтись не могла. Ей казалось, что земляки ее терпеть не могут. Ведь вся ее беспутная жизнь

шла у них на глазах. Пьянство, целый взвод мужей, мученическую жизнь Мишки и его побег серебрянцы простить не могли.

Куручкина решила бежать из родной Серебрянки и начать жить по-новому. Избу свою продавать не стала, забила окна досками, закрыла двери на большой замок и исчезла из Серебрянки, даже не выписавшись в сельсовете.

Несколько дней спустя после исчезновения Куручкиной к ее избе подошел парень в военной форме. Судя по знакам различия, это был курсант авиационного училища. Еще на станции он вытащил из кармана блокнот и, поглядывая в него, пошагал в сторону Серебрянки. Так, с блокнотом в руках, ни у кого не спрашивая дороги, курсант подошел к избе Куручкиной. Внимательно оглядев избу, он пошел к центру села и зашел в сельский Совет.

- Скажите, пожалуйста, - обратился курсант к женщине, - Куручкина Мария Александровна в Серебрянке не проживает?

- Уехала.

- А позвольте узнать, куда уехала?

- Откуда я знаю,- сказала работница,- глаза изо все сил на курсанта,- она сбежала и даже не выписалась.

- Сбежала, вы говорите, а от чего бы это? – механически спросил юноша.

- Так ясно ж, как день. Вся Серебрянка знает. Стыдно ей стало, пьянствовала, да загнулась было. В брюхе что-то у нее лопнуло. А ей и сдохнуть не дали. Год лечили, и от брюха излечили и от кагализма.

Эта была уборщица сельсовета. Ее по случаю сенокоса оставили дежурить, и она с удовольствием дежурила.

- Вот ей, видать, и стыдно стало, - продолжала дежурная. – Да лет пять назад у нее парнишка сбежал и как в воду канул. Говорят, его искать поехала. А где ж его найдешь. Он теперь либо в тюрьме, либо в люди вышел.

Совершенно неожиданно она потребовала документы.

- Лесовиков Николай,- прочитала она, - а я думала ты и есть сын Машки.

Нет, это был не Михаил Курочкин, бежавший шесть лет назад из Серебрянки. Это был его друг. Лесовиков приехал по просьбе Михаила, который еще пять дней назад был, как и Николай, курсантом авиационного училища. Он подробно рассказал Николаю, который ехал домой на каникулы мимо Серебрянки, как дойти до избы его матери и в блокноте нарисовал план, чтобы Николай без лишних расспросов мог дойти сам. Это все он рассказал и нарисовал пять дней назад утром, а в обед того же дня перед самым отъездом Лесовикова с Михаилом случилось то, что случается с человеком только один раз в жизни. Он погиб. Шедший на большой скорости грузовик переехал курсанта Курочкина на одной из оживленных городских улиц. Шофер был пьян. Николай Лесовиков знал жизнь своего погибшего друга: и то, как он сбежал из дому, и как сумел устроиться в один из среднеазиатских интернатов, и как, в конце концов, поступил в авиационное училище.

На суде шофер-преступник вел себя трусливо, плакал, просил о снисхождении. Прокурор потребовал высшей меры наказания.

- Отличник, будущий советский офицер, успевший увидеть много горя, сирота, воспитанный государством, - горячо говорил молодой прокурор. - Да разве можно простить подсудимого за его убийство?

Мать Михаила никогда не узнает о судьбе сына. Никто не напишет ей о случившемся. Она бежала из своего села.

Но трудно бежать от себя, от своего прошлого. Пройдут годы, а память не даст уйти от той жизни, которой она жила, отвратительной и пустой. И может быть, она проклянет ту жизнь. Пусть проклянет.

НЕНАВИСТЬ

11 февраля 1947 года мне исполнилось десять лет. Мы только что переехали из поселка Даевки в Кармашево, где отчиму дали новую работу. В Даевке он работал на электростанции. Платили ему семьсот рублей. Это его никак не устраивало. Прошло два года, как он пришел с войны и жил с нами, а ходил все в галифе и гимнастерке, заштопанных зелеными заплатами в несколько слоев. Отчим был из алтайских украинцев и, как почти все они, любил чистоту и порядок. Его заплатанные галифе всегда были чистенькими, так же, как и гимнастерка, и зеленый ватный бушлат, который он сумел сохранить каким-то образом еще с довоенных времен, чем гордился невероятно. В Кармашево отчима перевели на должность старшего дежурного тоже на электростанцию, и подчинялся он тому же хромому Щербаню, что и в Даевке, но жалованье, как говорила моя бабушка, ему повысили. Теперь он стал получать девятьсот рублей. Так что бесконечные разговоры о новых штанах и рубаше с переездом в Кармашево стали обретать реальную почву. Планов у нас было много. Матери нужна была юбка, кофта, мне пальтишко, штаны, фуражка, обувь, всего не перечислишь. Только бабушке ничего не надо было. По крайней мере она ни о чем не говорила и сама не вмешивалась в наши бесконечные мечтательные разговоры о земных благах и тряпках.

- Вулодька, вставай, пора уж, - будила меня в мой день рождения бабушка, - мать и этот (она имела ввиду отчима) ушли. Лопай, да иди в школу. Бабушка любила меня, но никогда не показывала этого ни мне, ни другим людям и обращалась со мной так же, как и со своей дочерью, моей матерью, которую она не любила. Я не мог понять, за что бабушка не любила мою мать. Но эта нелюбовь меня не

трогала и я о ней почти никогда не думал. Удивляла и пугала меня бабушкина ненависть к отчиму.

Зинка, - говорила она матери еще когда отчим не поселился у нас, а приходил просто поговорить, посидеть, попить чаю, - брось ты этого хохла, добра от него не будет. Не смотри, что он тихий. Как выпучит бельма-то свои, аж страшно делается. Уж больно чистится, да перед зеркалом крутится, будто бабенка какая. Ох, брось его, Зинка, а то горя и соплей намотаешь на кулак.

В день моего десятилетия бабушка была особенно раздражена против “этого”. Когда я умылся, оделся и съел мою долю картошки и ломтик хлеба, бабушка неожиданно для меня заплакала.

- Не ходи ты сегодня в школу, плохо что-то мне, да и тебя не заругают люди за день-то один. Ить три года день в день проходил. В другой раз я ни за что бы не послушался бабушки. Школа была для меня место святое и пропускать не то что день, а и один урок казалось мне преступлением не меньшим, чем кого-нибудь ограбить или даже убить. Но вид бабушки в это утро был такой, что мое сердце дрогнуло, и я, поставив свою сумчонку в угол, сел на табуретку и как не сдерживался, тоже заплакал.

- Ты чо, бабушка?- спросил я сквозь слезы, -

- Не могу я с вами жить, как выпучит талыте “этот”, так кусок-то в горло не пролазит. Жалеет он кусок-то, вот и пялит бельма-то. Ох, ты, горе наше тяжкое. Да все ж это война наделала. Ох, Вулодька, Вулодька, несчастный ты парнишка, безотцовщина, вот и плачу. “Этот” добра тебе не сделает. Когда-нибудь выгонит он вас с матерью на улицу. Помяни мое слово, Вулодя.

Долго еще бабушка причитала и проклинала сквозь слезы “дуру Зинку” и отчима. Я пытался ее успокоить, защищал даже отчима, потому что он мне нравился. Нравился он мне по многим причинам. Во-первых, человек был на войне. Это

для мальчишек сороковых годов был самый важный критерий. Тех, кто на войне не был, будь это даже родной отец, презирали. Правда, Терентий Никитич был не на германской войне (об этом мне сказала бабушка), а на японской, но все равно на войне с фашистами. Потом у него была медаль, на которую я мог смотреть часами, любоваться ее сверканием, перечитывать сотни раз слова “За победу над Японией”, держать в руках, чувствовать ее приятную тяжесть и даже осторожно пробовать ее на зуб. Нравился мне отчим за веселый нрав, за то, что любил он со мной после работы часами барахтаться. За все это он мне нравился, и я не замечал, что его огромные выпученные глаза неприятны, глаза как глаза, что нос слишком велик, что росточка он маленького и силенки у него маловато, так маловато, что после каждой возни со мной он подолгу отлеживался, а бабушка за это его слабосилие называла худодырым. Что это значило, я не понимал, но что слова были несомненно оскорбительными, я очень хорошо чувствовал.

- Ить чего ждет этот, чтоб я денежки отдала, что за даевский домишко получили, - уже успокоившись доверительно и почему-то шепотом говорила бабушка. Отдай ему денежки-то, а он их и прикарманит, я от вас в Сауловку, там меня помнят, шить буду, заработаю да тебе хоть пальтишко куплю. Ишь совсем лоскут на лоскуте у тебя пальтишко-то.

- А ты, бабушка, мне пальто на даевские деньги купи, все равно они у тебя спрятанные в подушке лежат, - тебе и в Сауловку тогда ходить не надо, - сказал я.

- Нет, те деньги трогать нельзя, вот выгонит хохол вас с матерью-то из квартиры этой, тогда деньги-то и понадобятся, а растратим мы их сейчас, на что избу купишь, где жить станешь. Мать-то твоя почти что полоумная, ей все равно, да и мне ее не жалко, а тебя жалко. Успеешь еще горя помыкать. Добрый ты очень, всему веришь. Это ты от рождения такой. Потому и горя много у тебя будет. Нет,

денежки этот хохол не получит и Зинка не получит, - твердо сказала бабушка, помолчала и села за швейную машинку, стала шить. Монотонный стрекот машинки мне вскоре надоел и я вышел на улицу. Было еще темно, двухэтажные казенные дома из красного кирпича казались черными, на улице никого не было, я один оказался бездельником, в сторону школы, которая находилась метрах в двухстах от нашего дома, идти было страшно, вдруг кто-нибудь, может быть сам директор, увидит меня болтающимся без дела. Покрутившись вокруг строящегося рядом с нашим дома, я поплелся домой. Настроение мое было испорчено бабушкиными слезами и речами, день рождения не обещал быть веселым. В доме кроме купленного вчера за триста рублей ведра картошки и пайки хлеба, ничего съестного не было, школу пропустил по бабушкиной просьбе. А что она мне рассказала? Ничего нового. Все это я и так давно знал. Глухое раздражение против бабушки перерастало у меня в злость. “Ворчит хохол, хохол – думал я, а он на карточки пятьсот грамм получает, а мы по двести пятьдесят, и мне всегда за столом подсовывает то картошку из своей тарелки, то кусок отламывает от своего куска. А может, он и правда хочет у бабушки деньги выманить, а потом смыться. Нет, наверное, бабушке все это от старости мерещится”. Вконец расстроенный я вернулся домой. Бабушка шила и по привычке ворчала и чертыхалась под нос. Я стал читать про шесть Иванов, которые все были партизанами и тревоги мои и волнения стали исчезать. Так и прошел почти весь день. Бабушка шила, я читал. Читать-то я читал и успокоился совсем, но чем ближе время подходило к пяти часам дня, тем тревожнее становилось у меня на душе. “Что скажет мать, когда узнает, что я не был в школе, – думал я, - сказать, что бабушка попросила не ходить, значит выдать ее, не сказать, все равно Инна Филатовна скажет, что не был в школе”.

- Скажи, что заболел, - в разгар моих размышлений, будто угадав о чем я думаю, сказала бабушка, - а то они начнут

плести. Лучше я сама им скажу, а то у тебя не выйдет, простая ты душа.

Но я не был простой душой, как не были все мои сверстники. Соврать я не стеснялся никому, даже и матери. Наоборот, я считал совершенно неспособной сказать неправду бабушку. Она, несмотря на свои шестьдесят лет, не могла сказать какую-нибудь ложь и краснела, когда пыталась это сделать. За ее необычайную честность я любил ее.

- Нет, бабушка, я сам скажу. Мне нехорошо взаправду, горло болит. Свинка опять, как в позапрошлом году, помнишь?

- Свинка так свинка, - равнодушно, слегка вздохнув, - сказала бабушка.

Больше мы с ней ни о чем не говорили. Она шила, я смотрел в книгу, а думал о матери, отчине и бабушке. Не могло все, что происходило в нашей семье, закончиться благополучно. Наверное, что-нибудь и обязательно неприятное, а, может быть, и страшное случится. Примерно так я думал. Конечно не этими словами.

Когда я услышал шаги матери и отчима, они тяжело ступали по лестнице, ведущей к нам на второй этаж, мне стало не по себе и я забрался мигом под старенькое и рваное свое одеяло, надеясь на то, что меня забудут или заметят чуть позже, когда я сумею настроить себя на определенный лад, то есть войти в роль больного. Но я ошибся. Как только дверь открылась, я услышал радостный голос отчима:

- А где наш именинник? Лежит, вставай! Мы тебе кое-что сообразили. Он подошел ко мне в своем зеленом старом бушлате. От бушлата несло холодом. Лицо отчима было веселым. Большие синие глаза навывкате смеялись, нос (семерым рос, а одному достался, как говорила бабушка) был красным и тоже веселым. Отчим наклонился ко мне, от него чуть-чуть несло водкой и чесноком.

Заболел что ли? – поглядев на меня внимательно, с тревогой в голосе спросил он. Этого вопроса я ожидал больше всего и даже обрадовался ему.

- Горло болит и в школу не ходил, - сказал я хриплым голосом и сам удивился тому, откуда у меня появилась хрипота и такая печаль в голосе, что мать, только что подошедшая ко мне испуганно спросила:

- Не свинка ли у тебя опять?

- Может, - охотно согласился я.

- Сильно давит, как в позапрошлом году, да?- допытывалась она у меня.

Бабушка продолжала строчить на машинке, краем глаза я видел как ее правое ухо алело. Она всегда краснела ушами, когда ей было стыдно. От матери тоже попахивало водкой и чесноком. Я понял, что сегодня они оба в хорошем настроении и учинять мне допроса не будут, а ограничатся расспросами и вздохами.

- Я встану, легче стало

- Вот и хорошо. А мы с матерью селедки достали и три куска сахара. Это тебе. Гульнем сегодня, твое десятилетие обмоем и мою премию.

- Отец-то премию получил, - пояснила мне мать, - вот мы по дороге и клюнули за тебя по сто грамм.

Говоря все это, и мать, и отчим принялись за приготовление ужина. Бабушка этим не занималась с тех пор, как отчим стал жить у нас. Готовить обед ли, ужин ли было в тот год очень легко. Начисти картошки, свари ее вот и все. Минут через двадцать картошка, изжаренная на воде, в большой зеленой глубокой чашке стояла на столе.

- Шкурку снимать с селедки-то или так съедим? – спросила она отчима.

- Съедим так. С костями, и то съедим, - весело сказал тот, - правда, ведь мать? - обратился он к бабушке. Та все еще строчила на машинке. Мы не разобрали, что она сказала, а

может и ничего, но что вопросом была недовольна, все заметили. Стрекот машинки стал сильнее.

- Не дразни ты ее, - сказала мать тихо. Отчим махнул рукой.

Картошка в зеленой тарелке, селедка в моей глиняной глубокой чашечке, восемь кусков хлеба во всю булку на круглой деревянной доске, заменявшей нам хлебницу- все это богатство стояло на квадратном столе без скатерти. Три самодельные табуретки стояли около стола. На четвертой сидела бабушка. Отчим оглядел стол.

- А чегой-то не хватает, а чегой-то не хватает, пропел он на хохляцкий манер. Лукаво поглядывая на мать. Та подошла к его бушлату и из внутреннего кармана вытащила бутылку с какой-то розовой жидкостью. Стаканов в доме не было, и на столе появились старинные чайные чашки с золотыми ободками и ласточками, нарисованными на их круглых ободках. Эти чашки были гордостью нашей. Отец осторожно открыл бутылку и разлил во все четыре чашки поровну розовую жидкость. Они переглянулись с матерью, и отчим серьезным голосом сказал бабушке:

- Ну, Елисеевна, на меня сердись не сердись, а за стол садись, внука поздравить надо. Десять лет в жизни как и сто раз бывает.

Потом бабушку уговаривала мать, потом и я. Не могли мы сесть за стол без нее при ней. Уговорили. И как-то грустно стало в комнате, когда бабушка села за стол и мы вслед за ней. Отчим стал серьезным, мать призадумалась, я опечалился. Но через какое-то мгновение, видимо, переборов себя, отчим улыбнулся, улыбнулась мать своим маленьким круглым лицом, я тоже заулыбался, и в глазах бабушки потеплело.

- Счастливо тебе, Володя, жить-поживать да ума наживать, - весело сказал отчим, - до ста лет расти без старости. Он, не торопясь, с удовольствием выпил розовую

жидкость. На бутылке, на красивой этикетке было написано “Кагор”. Отчим облизнул губы, стал торопливо есть картошку, и жевать селедку прямо с костями. Мать тоже выпила, оставались бабушка да я.

- Попробуй именинник, это же детское вино, сладкое как морс. Много не пей, а глотка два-три можно, - говорил отчим, обращаясь ко мне. – А ты чего, Елисеевна? Это же церковное, сладенькое.

Я церемонится не стал, и отпил невзначай чуть не пол чашки вина.

- Мама, ну чего ты, выпей, ведь за Володю же. Ну чего ты, - уговаривала мать бабушку. За столом опять стало скучно. Отчим ел и изредка поглядывал на бабушку. Глаза его были веселыми, но я заметил в них такую неприязнь к бабушке, которая была равна по силе ее неприязни. “И он ее терпеть не может, только притворяется”.

- Подводишь ты нас мамаша, - сказал он, - не портила бы хоть мальцу день рождения. На меня сердись, а он-то ни при чем. Пей, давай, пей.

Бабушка морщась, одними губами прикасаясь к краям чашки, отпила вина и с видом крайнего отвращения отставила чашку в сторону, давая понять этим жестом, что больше к вину не прикоснется даже ради внука. Она взяла ломоть хлеба, отломил от него кусочек, откусила, пожевала, и не притрагиваясь к картошке и селедке, вышла из-за стола, отчим проводил ее веселыми глазами, в которых метались искорки ненависти. Бабушка села к машинке и стала строчить, но не как раньше, а деловито. Казалось мне, что она смирилась с чем-то и не будет в этот торжественный для меня вечер мешать остальным членам нашей семьи радоваться. Поняв по нормальному стуку машинки это, я облегченно вздохнув принялся за еду. После картошки с селедкой мать налила мне одному чаю и положила в кружку кусок сахара, один из трех принесенных ими для меня.

Ничего страшного в этот день и вечер в семье не произошло. После ужина с кагором мать и отчим ушли в кино, я лег спать и уже во сне услышал как кончила бабушка свое шитье и улеглась на свою скрипучую деревянную кровать, что-то ворча. Свет она не выключила. Я уснул.

Прошел февраль, март был холодным, снежным и еще более голодным, чем февраль. Картошка на базаре подорожала до четырехсот рублей, булка хлеба тоже. Отчимовой и материной зарплат не хватило бы, если бы жить базаром и на три дня. Спасали все-таки карточки. Хоть мало, а каждый день можно было получить хлеб, а несколько раз в месяц выбрасывали кое-что из приварка. Были за приварком длинные очереди, но на них никто не обижался. Стояли с темна до темна и, счастливые, бежали домой, прижимая к груди кусочек масла, замотанный в тряпку, двести грамм сахара-рафинада, бутылку подсолнечного масла. Глаз мальчишечий остер, но я не видел унылых лиц в ту суровую зиму и весну. Все, а особенно мальчишки, чего-то ждали, а точнее ждали счастья, скорого счастья, такого, при котором можно будет вволю наесться хлеба и картошки. О большем мы не мечтали, потому что не имели представления, что досыта можно есть, например, сахар. Сахар можно пить с чаем и в прикуску и совершенно не обязательно его грызть как какой-нибудь жмых. Насчет конфет, пряников, печенья мы не мечтали и разговоров об этих вещах не вели между собой. Странно было бы говорить о том, чего не знаешь, а перечисленные лакомства мы не знали.

Только в апреле повеяло теплом, снег заметно начал таять и неожиданно на базаре, как по волшебству, упали цены на картошку, и на хлеб. Очереди исчезли. В апреле от нас неожиданно ушла бабушка, ушла, когда никого не было дома, ушла, не сказав мне ни слова. Я понял, что она ушла, только часа через два после прихода из школы. Понял, когда увидел, что под стеклом в рамке нет моей фотографии, а на

привычном месте в углу у печки нет иконы. Бабушка в бога всерьез не верила, а икону держала лишь потому, что ей была благословлена давным-давно своей матерью, моей прабабушкой. Больше она с собой ничего не взяла из вещей. Деньги за даевский дом она, конечно, тоже унесла. Я чувствовал, что она ушла не навсегда, а на какое-то время. Мне казалось, что еще долго-долго мы будем жить вместе. Это меня утешило в момент, когда я понял, что бабушка не просто ушла в гости на день-два, а, может на год и даже больше.

- Бесится старуха, - сказала мать об исчезновении бабушки, - к старым подружкам в Сауловку убежала. На этом разговор об уходе бабушки в доме не возникал. Ни отчим, ни мать не заговаривали о ней. Я долго вспоминал ее и тосковал о ней, хотел написать письмо, но не знал точного адреса, будучи человеком начитанным не хотел уподобляться чеховскому Ваньке и на деревню бабушке, как он дедушке, не писал. Наступила весна и новые заботы нахлынули на нашу семью. Главная из них была - земля. Весь май мы вечерами ходили километра за четыре от Кармашево и копали землю на склонах невысоких гор, прижимавших с севера поселок к реке. Земля была непаханая, то есть целина. Копали ее так. Лопатой вырезали из земли, покрытый нежной майской травой, квадратный кусок целины и перевертывали его травой вниз, а черной лоснящейся почвой вверх. Так, квадрат за квадратом, перекапывали многие гектары. Кармашевцы подняли таким примитивным способом многие сотни гектаров. Хрустят под лопатой сплетенные воедино корни трав, тяжело их даже острой лопатой резать, если тебе только десять лет. Давишь изо всех сил ногой на лопату, а оно еле-еле входит в зеленую землю. Самый счастливый момент- это когда перевернешь земляной пласт травой вниз. Наступает передышка. Пока примериваешься к новому пласту, пока наставляешь острие лопаты - отдыхаешь. Но ты в одном

строю с отчимом и матерью, а потому нельзя долго примеряться и отлынивать от копки. Они тебя хотя и не принимают всерьез, но им приятно, что ты стараешься изо всех сил и это тебе доставляет удовольствие, усталость исчезает на какой-то миг, орудуешь лопатой весело и свирепо, так, что пласты летят один за другим вниз травой молниеносно. Молча дотемна копаем. А направо и налево от нас, метрах в ста и дальше, где один в одиночку, где семьями бьются над землей другие кармашевцы. Еле двигается работа, а через день-другой глядишь гора из зеленой превращается в черную, ни травинки не зеленеет на склоне горы. Она, трава, прееет уже под толстым слоем перевернутой лопатами земли. А потом все кармашевцы выходят садить картошку. В послевоенные годы садили картошки много. Голодные предшествующие годы показали людям, что на картошку положиться можно больше, чем на второй фронт. Весной сорок седьмого года в мире было очень тревожно. Взрослые говорили о войне. Это тоже подталкивало к посадке картошки в неограниченных по возможности размерах. Мы посадили пятьдесят ведер, для этого пришлось вскопать двадцать пять соток целинной земли.

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ...

Рассказ

Даниле Егоровичу Звереву исполнилось шестьдесят восемь лет, когда он похоронил свою жену Анну Ипполитовну. Была она ему ровесница, но не пережила его, а взяла и умерла неожиданно в феврале семьдесят первого года.

Данила Егорович был человек суровый. Похоронил старуху без охов да вздохов. Тратиться вовсе не пришлось. Гроб да крест сделали в столярной мастерской бесплатно.

На похоронах были и оба сына. Жили они на другом конце города, бывали в гостях у родителей редко, но кое-какие заботы во время похорон на себя взяли. Старший обтянул гроб черным материалом, а младший покрасил крест охрой. Выкопали они и могилу.

После похорон не было выпито за упокой Анны Ипполитовны ни рюмки, не было съедено ни крошки. Все трое Зверевых - старший и младший - понимали, что вся эта волокита с поминальными обедами да ужинами - предрассудки и трата денег, и что покойнице от поминок в сырой земле легче не станет.

Прямо с кладбища все трое разъехались в разные концы города, по домам. У всех были дела.

Бессонницей Данила Егорович не страдал. Крепко спал он и в ночь после похорон Анны Ипполитовны. Сны редко видел Зверев, но в эту ночь ему приснились аж двадцатые годы. Пашет он землю на паре мощных коней. Сами они рыжие, хвосты у них черные, гривы тоже черные, а копыта необычные: всех цветов радуги. Данила пашет, а от копыт ему в глаза искры летят, и он жмурится и запинается о ровную землю. Делает огрехи. А рядом идет отец с кнутом да материт Данилу за огрехи, на чем свет стоит.

Данила Егорович на сны внимания не обращал. Этот его тоже не удивил. Только подумал: "Вот бы в деревню". Мелькнуло и пропало. Дня через два в столовой (не возиться же дома с едой, дороже обходится), когда жевал котлетку, вспомнил: "В деревне поди хлеба в котлеты и посею сейчас не кладут..., а зря. В меру можно бы, хлеб мясо мягчит".

Стал Данила Егорович в городской газете, которую выписывал с незапамятных времен, выискивать статейки о деревенской жизни. Но в газете писали о чем угодно, но только не о деревенской жизни. Конечно, у Зверева был телевизор и радиоприемник. Теперь он с интересом смотрел и слушал передачи, хоть краем касавшиеся сельских дел.

На городском рынке Зверев стал пристальнее приглядываться к торговкам и торговцам. Ведь большинство из них были деревенские жители. “Видать, лучше стало в деревне-то,- думал Зверев, медленно шагая вдоль торговых рядов, - бабы гладкие да веселые. А мужики, что и в городе, все больше выпивши. Ишь назюзюкался как, аж не видит, сколь ему покупатель денег сует. Дома очухается, а поздно будет. Не досчитается. Прибыльно это – на базаре торговать. Мясо деревенскому затак достается. Трешку заплати пастуху, а осенью получай быка пудов на десять. Вот тебе и триста рублей чистых. А тратятся в деревне только на хлеб да водку с сахаром. Трамваев нет, автобусов, мороженого, разливухи. Копейка в кармане.”

- Отойди, дед. Чего от покупателей меня закрываешь,- услышал он женский голос. ”Эк, меня деревенские мысли разобрали ”- весело подумал Данила Егорович, - с моими деньгами да при нынешних послаблениях ох и можно развернуться в деревне. Деньгами засыпаться в самый раз по макушку вполне в состоянии. Только не по-старому, как сорок лет назад, а по-умному действовать надо.

В июне семьдесят первого года Данила Егорович Зверев решил ехать в деревню. И не куда-нибудь, а в родную Пичуговку, что на Алтае, в десяти часах езды поездом от Новокузнецка.

“Погощу. Теперь кто и вспомнит меня и те рта раззявить не посмеют. Сорок один год прошел. Да и кто я теперь?- Данила Егорович довольно усмехнулся, - чуть не герой труда. Орденов и медалей побольше, чем у любого пичугинца. Теперь я пролетариат. В тридцатом выжили лодыри чертовы, а теперь я кого хошь сам выживу.”

Все связи с родной Пичуговкой порвал Данила Егорович летом тридцатого года, тоже в июне. Слегка отомстив землякам за их хамство (отобрали землю, скот, присудили к высылке в Нарым), Данила Егорович с семьей

бежал из Пичуговки. Полмесяца пробирались глухими дорогами да тропами Салаира до Кузнецка. В Кузнецке Зверевы жить не стали. С недельку Данила Егорович присматривался как строят КМК, как живут люди. Деньги у него были. В соседнем с Кузнецком шахтерском поселке, который потом слился с городом, Данила Егорович поставил большой, в пять комнат, дом да проработал на тамошней шахте вплоть до пенсии. В войну был забронирован, работал крепко и получал хорошо. Ни нужды, ни горя семья Зверевых в войну не видела.

Так что было в трудовой книжке Данилы Егоровича только две записи. Принят тогда-то, уволен в связи с уходом на пенсию, тогда-то. Эти две записи наполняли гордостью Данилу Егоровича.

Свой старый дом с огородом и садом продавать Зверев не стал. "Сейчас что-то дешево дома, снохи посмотрят, а там видно будет. Может еще и вернусь"- думал Зверев, собирая вещи в чемодан.

В вагоне было жарко и очень людно. Данила Егорович потел и беспокоился о деньгах, которые теперь могут от пота испортиться. Он положил их в секретный карман под мышкой и теперь с тоской чувствовал, как струйки пота текут по шее, по плечу и все в карман. А что поделаешь? Снять пиджак нельзя. Вагон полон народу. Вон сидит напротив тип. Очки напялил и шляпу, да значок ромбиком. А по глазам видно, что украсть может. В чемодан деньги не положишь. Чемодан стащить легче всего. Хорошо, ехать недолго, а то и загнуться можно. Так или примерно так размышлял Данила Егорович до самой Пичуговки.

На пичуговской станции Зверев сошел в восемь часов вечера. Он не почувствовал ни радости, ни волнения, когда ступил на родную землю. С железнодорожной насыпи была видна река Лумыш. Вдоль реки, в полукилометре от станции, расположилась его Пичуговка.

Степи, покрытые зелеными еще хлебами, были бескрайни. Данила Егорович постоял, посмотрел на когда-то родные места, но так и не ощутил в себе не то что нежности к этому краю, а и интереса.

Дорога, по которой он шел к Пичуговке, не была похожа на деревенскую дорогу. На ней валялись обломки кирпичей, да местами был просыпан цемент. Видимо, шофер слишком торопился. В кювете лежало огромное колесо от “Беларуся”. “Все одно и то же : кирпич, цемент да машины, - думал раздраженно Данила Егорович, - А вот лошадок, видать всех повывели. Хозяева...” Он чувствовал, что чем ближе подходит к Пичуговке, тем сильнее в нем закипает неприязнь к своим бывшим землякам. За те долгие минуты, что Зверев шел от станции к Пичуговке, он вспомнил о своем прошлом больше, чем за сорок ушедших лет, и, когда приблизился к крайнему пичуговскому дому, понял, что не только жить в этой деревне не сможет, но и войти в нее даже на минуту не найдет в себе сил.

Повинуясь этому старому своему чувству, которое, как казалось ему совсем недавно, заглохло в нем, а теперь бушевало с новой силой, Данила Егорович сел на чемодан спиной к Пичуговке.

Тогда, в июне тридцатого года, Зверев не признал себя кулаком. И теперь, чувствуя спиной Пичуговку, до последнего слова вспомнил, что тогда сказал в ярости этим голодранцам-землякам своим:

“Я отобрал землю у Гришки? А? Отобрал я у тебя землю, Гришка? Ты ведь сам прибежал: купи. Я купил. А не купил бы, пустовала бы земля. А у Евдокии я землю отобрал? Отобрал я у тебя землю, Евдокия? Сама навялила! Спите много, граждане! А я не сплю. Все такими кулаками, как я, можете стать.”

Эта была самая длинная речь в жизни Зверева. И ему тогда казалось, что мужики поймут его и поддержат. Но они

не поняли. А стали дружно кричать на него, размахивать перед его носом кулаками и проголосовали за выселение Зверева Д.Е. как сознательного кулака в Нарым с конфискацией имущества.

- Нет, - вслух сказал Данила Егорович, - здесь мне не жить! На пичуговской станции он пробыл два часа, ожидая поезд на Новокузнецк. Эти два часа были пыткой для Данилы Егоровича. Боялся встретить сверстников, боялся быть узнанным. Напрасно. Его враги полегли от Волги до Дуная, от Невы до Шпрее, а его сверстницы, отплакав свое, покоились на пичуговском кладбище. Только две-три старушки доживали свой век в Пичуговке. Они бы может быть и вспомнили бы Данилу Егоровича, да не могли попасть на станцию в тот день и час, когда корчился там от страха бывший пичуговский житель и кулак. Заняты были старушки с внуками да правнуками.

После возвращения из Пичуговки Данила Егорович занялся ремонтом своего дома. Он ему был велик давно, но старуха продавать не давала. "Подремонтирую и загоню, а себе поменьше куплю, потом пристройку присобачу, да и опять продам," - планировал Данила Егорович.

За пять тысяч удалось Звереву продать свой дом и только за две купил он дом немного поменьше, но зато новый. Хозяевам дозарезу нужны были наличные деньги, и они взяли столько, сколько надавал Данила Егорович. Три тысячи отнес Данила Егорович на сберкнижку. Кассирша, после ухода Зверева. Шепнула подружке по работе: - Вот старик... У него за двадцать тысяч перевалило, а он ни разу с книжки не брал, а говорят, один-одинешенек.

- А ты посватайся - станешь богатой вдовой, - пошутила подруга, и обе весело рассмеялись.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>История одной публикации.....</i>	<i>стр. 3</i>
<i>Иганино.....</i>	<i>5</i>

Стихи

<i>Весна.....</i>	<i>7</i>
<i>Последний снег.....</i>	<i>7</i>
<i>Осенние этюды.....</i>	<i>8</i>
<i>Рейхстаг.....</i>	<i>10</i>
<i>Пленные.....</i>	<i>12</i>
<i>Бородино. Октябрь 1941 г.</i>	<i>13</i>
<i>Орбитой новою, нехоженной тропой.....</i>	<i>26</i>
<i>Сибиряку-победителю.....</i>	<i>28</i>

Заметки и проза

<i>День шахтера в 1948 году.....</i>	<i>29</i>
<i>Ломоть черного хлеба.....</i>	<i>37</i>

Житейские истории из блокнота селькора

<i>Бегство.....</i>	<i>41</i>
<i>Ненависть.....</i>	<i>48</i>
<i>40 лет спустя.....</i>	<i>58</i>

